



АЛЬБЕРТ ЛИХАНОВ

**НИКТО**

# Альберт Лиханов

## Никто

*RSI (rsi@sw.uz.gov.ua)*

*[http://www.litres.ru/pages/biblio\\_book/?art=135301](http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=135301)*

*Альберт Лиханов. Никто: Астпель; М.; 2002*

### Аннотация

Одно из самых драматичных произведений А. Лиханова.

Никто – кличка, данная главному герою, «выпускнику» банального детдома бандитами, расшифровывается просто: Николай Топоров, по имени и фамилии. Но это символ. В одной из самых богатых стран мира – теперешней России любой мальчишка простого происхождения в ответ на вопрос: «Ты кто?» наверняка сначала удивленно ответит: «никто...» и только потом – «человек». Так и скажет: «Никто... Человек». Проверьте.

Об ошибках (опечатках) в книге можно сообщить по адресу <http://www.fictionbook.org/forum/viewtopic.php?p=17686>. Ошибки будут исправлены и обновленный вариант появится в библиотеках. Также можете предложить свой вариант аннотации для книги.

# Содержание

Часть первая	4
1	4
2	13
3	21
4	28
5	37
6	47
7	51
8	55
9	62
10	70
11	78
Конец ознакомительного фрагмента.	82

# **Альберт Лиханов**

## **Никто**

### **Часть первая**

### **Нечаянный интерес**

#### **1**

По имени звали его очень редко, да и как тут станешь по имени к каждому обращаться, когда одних вот Колек не меньше чем десятка три во всем интернате из двух-то с половиной сотен живых душ, так что для различения училки да воспитательницы звали их по фамилиям, а меж собой обращаться принято было по кликухам, придуманным, кажется, не кем-то лично, каким-нибудь остроумцем, а, можно сказать, самим существованием. Как-то так выходило, что кличка выговаривалась сама собой, нередко даже самим ее будущим владельцем, порой произносилась в споре о чем-нибудь совершенно постороннем, и кем произносилась, никто потом вспомнить не мог, и были они, их новые имена, самыми разными – от нейтральных, как у него, вполне естественных, до обидных и даже оскорбительных – но это оставим пока в

стороне.

Его же кликали Топорик, Топор, а когда сердились, то и Топорищем, хотя это слово означало совсем иное, чем означает топор. Все шло от его фамилии Топоров, а по имени его звали Кольча – ласкательно и уменьшительно сразу.

Светлоглазый, с круглым лицом, в раннем детстве он был одним из стайки головастика, не просто похожих друг на друга, но абсолютно одинаковых, а потом, с годами, не то чтобы вырвался вперед, а отошел в сторону, пожалуй. Обрел масть – темно-русые, откуда-то шелковистые красивые волосы, которые, если их не состригать безжалостно воспитательскими ножницами, наверное, предназначенными когда-то для стрижки баранов, льются волшебными струями от макушки во все стороны, легкие и пышные, сами по себе составляя в зависть беспородному девчачьему большинству неслыханное богатство.

Еще одна подробность – брови. Казалось бы, и они должны иметь цвет в масть волосам, но по прихоти природы брови у Кольчи были абсолютно черные, ровно насурьмленные, и разлетались от переносицы прямыми стрелками, придавая его лицу решительное выражение.

Широкий нос с широкими же ноздрями и широкие губы завершали Кольчин облик какой-то утвердительностью, определенностью, твердостью. С годами он обогнал сверстников ростом, хоть и был при этом тонок, как прут или лозина, но главное, всегда обгонял остальных каким-то непо-

нятным признанием, никоим образом им самим не создаваемым.

Причиной признанию были два качества – вот этот самый решительный вид и неспешность заключений.

Среди этих неспешностей были явные, когда требовалось вынести свое суждение о ком-то или о чем-то. Но были и тайные.

На глазах у него время от времени происходили странные сцены, на которые он взирал в разные годы своей жизни поразному. Пока был мал и не больно смышлен, он независимо от себя почему-то волновался, подрастая же, волнение это как будто заталкивал вглубь себя, сам же усмехался снисходительно, выражая презрение всем своим видом, но непонятно для самого себя всегда помалкивал.

А сцены эти были такие. Вдруг во дворе интерната появлялась женщина и начинала, обращаясь к тем, кто тут оказывался, охотнее же все-таки не к взрослым почему-то, а к детям, просить, чтобы ей позвали Ньюру такую-то или Васю такого-то. Заторможенный интернатовский народ начинал вслух соображать, о ком же конкретно идет речь, впрочем, чаще всего замедленность эта объяснялась тем, что имена в интернате слегка подзабывались, уступая, как было сказано, место кличкам, и требовался ресурс времени, чтобы определить искомую фигуру. Наконец, ее высчитывали, будто решали задачку, и за званым или званой устремлялся голец, и чаще всего не один; бывало, что в погоне, оттирая друг

дружку, обгоняя, ставя подножки, гонцы забывали свою задачу, затормаживая или даже останавливаясь вовсе и обмениваясь тумаками, и тогда оставшиеся в ожидании начинали им орать, чтобы те вспомнили, зачем они вызывались бежать.

И вот во двор выбегал пацан или девчонка, которую звала женщина. Выход этот взирала уже, как правило, целая толпа – к тому времени, пока вычисляли, к кому пришли, скачки гонцов и, главное, сам факт появления постороннего человека выводил на улицу немалую часть интернатовского люда, среди которого возвышались и взрослые фигуры – учительница, воспитательница, а то и сам директор Георгий Иванович.

Высокий и тощий, вершитель судеб, генеральный прокурор и верховный судья, начальник и милостивец, человек всегда и во все вмешивающийся, он тем не менее в таких вот положениях никогда не торопился. Выходил, стоял среди ребят, сходил с тропки, сдвигался в тень и там все ждал, когда найдут того, кого ищет женщина. Наконец вызываемая фигура являлась. Женщину признавала, ясное дело, издали или даже вовсе еще не видя, и вот тут бывало по-всякому.

Чаще всего, если это была девчонка, она бежала к этой Женщине. Маленькие девчонки ревели при этом, и тогда народ, не задерживаясь, расходился. Девчонки постарше могли идти не спеша, на одеревеневших ходулях, лицо покрывалось рваными алыми пятнами, народ снова разбрелся, но

не так поспешно. Мальчишки постарше приближались нерешительно, и было ясно, что они боятся, как бы остальные не разглядели их слабины.

Странное дело, ни одна из женщин, приходивших в интернат, не запомнилась Кольче. И фигурами, и лицами, и одеждой, и даже родом они все походили одна на другую, будто были скроены, сшиты одной рукой. Этакие одинаковые поношенные куклы. На них мог быть платок или берет, они могли быть простоволосы, но это не обманывало проницательный взгляд. Лица стерты и невыразительно круглы, ноги коротки и некрасиво обуты, руки недлинные, а сами тела будто обрезаны – этакие обрубьши.

Это были матери, когда-то родившие сдержанно идущих к ним или опрометью бегущих детей. Детей, которые им больше не принадлежали, и потому, наверное, наблюдавшие интернатовцы женщин этих матерями не называли, а называли мамашками.

Давно прошли времена, когда врал про своих родителей, выдумывая им красивые беды. Мол, отец сидит в тюрьме, потому что защищался от бандитов и одного убил. Или, дескать, родители погибли в автокатастрофе. Нынче правда не украшалась, наоборот, по новой неписаной моде дети старались ее подчеркнуть. Не раз Кольча слышал, как вполне хладнокровно какая-нибудь интернатовская девчонка, сама слышущая недотрогой, называет свою мамашку проституткой. Он поражался, когда обнаруживал эту проститутку во дворе:



такая же, как все остальные, – плосколицая, коротконогая и короткорукая кукла в обтертом плаще – кому она нужна. Он представлял себе проститутку совсем другими.

Кольча знал, как и знали все остальные: бывшие матери приходят сюда со страхом. Некоторые для храбрости принимали полстакашка, и это было видно на расстоянии не одним детям, но и взрослым, особенно Георгию Ивановичу, и он, бдительным оком установив сей факт, не удалялся, а, напротив, приближался к мамашке и ее дитю, но для начала на деликатное расстояние, чтоб не слышать внятно их разговора, а если устанавливал, что допустимая норма в полстакашка неразумно преодолена и мамашку несет не в ту степь при рассуждениях о жизни и ее бедной доле, выдвигался на ближние позиции и требовал обтертую куклу покинуть введенную ему территорию.

Пару раз Кольча вместе со всеми бывал свидетелем громких скандалов на эту тему, но чаще всего одинаковые куклы одинаково тихо исчезали, чтобы появиться через полгода, через год или вовсе не появиться.

Зачем они являлись вообще? Чтобы отдать своему дитю шоколадку и полистироловую игрушку – какого-нибудь крохотного медвежонка? Чтобы все в интернате узнали, какая у тебя мать?

А несколько раз, то ли по причине редких посещений, то ли из-за пропитой памяти, а может, по иным, неведомым первому взгляду причинам мамашки просили позвать свое-

го сына или доченьку у ребячьего кружка, в котором и были эти сынок и доченька, не узнавая их. На фиг нужны такие мамашки?

Впрочем, тоже пару раз, не более того, Кольча видел, как безликий обрубок менялся, превращался в человека.

Это выглядело странно, во многом непонятно, потому как невидимо, по крайней мере им, детям, и происходило главным образом где-то на стороне. Оба раза матери эти сидели в колонии за какие-то незримые отсюда дела, приходили обтрепанные, похуже остальных, но трезвые и, обняв своих дитят, просились в кабинет к Георгию Ивановичу. Тот не отказывал, они удалялись. Выходя от него, женщины казались просветленными, появлялись вновь и вновь, сразу направляясь в директорский кабинет, и, наконец, по интернату, точно сквозняк, проносилась весть: такая-то мамашка снова стала матерью, восстановила свои родительские права, а такая-то и вообще их не теряла, но после колонии потребовалось время, чтобы устроиться на работу, и она забирала своего ребенка.

В первый раз, помнится, им был шестилетний пацан, еще не заслуживший даже клички. К младшим до определенного возраста, когда человек может чем-то отличаться, до времени получения заслуг, обращаются одинаково обезличенно: «Эй, пацан!» – и этого бывает достаточно. К белобрысому маленькому пацану, одному из немногих, а потому одинаковому, вернулась мать. А потом счастливицей оказалась де-

вочка по кличке Мусля. Была она черноглава и черноброва, походила на цыганку, но оказалась не то татаркой, не то башкиркой, кто-то, может она сама, сказал, что она мусульманка, и это слово, непривычное для интерната, странно трансформируясь, обратилось в кличку.

За Муслей пришла ее такая же черная мать, коротенькая, невзрачная, затерханная, как другие матери, но, когда они уходили, Кольча поразился ее изменившемуся лицу: щеки у Муслиной матери порозовели, зато лоб и нос побелели, будто их сильно подчистили, как-то осветлились, и жгуче-черные глаза и брови контрастно сияли на этом белом от страха с розовыми пятнами лице.

Георгий Иванович никогда не устраивал никаких проводов. Однажды он обронил фразу, которая, хотя ее больше никогда не повторяли взрослые, жила в интернате самостоятельной жизнью, то ли негласно передаваемая из уст в уста, то ли вообще обреталась в воздухе, подразумеваемая как явная истина. А и сказал-то он вроде того, что не надо торжественных проводов, потому как может ведь все обернуться неторжественным возвращением.

Господи, да разве же напугаешь этих ребят таким предсказанием! И все же лучше не терять фразы. Они – не вещи, их не найдешь, не вернешь обратно.

Так вот о мамашках. Они приходили. Не часто, но все же. Приходили и тетки, двоюродные сестры, еще какие-то дальние женщины. Приносили мелкие гостинцы и еду, буд-

то здесь не кормили, видите ли. Мужчины не появлялись. Словно не было у этих ребят отцов. Или хотя бы дядьев. Нет, не долетал до этого интерната мужицкий дух.

А к Коле Топорову вообще никто не приходил. Когда он был маленьким, ждал, что придут. Но он не один такой. Таких хватало. И все же как-то постепенно, без всяких объяснений со взрослыми, даже среди тех, к кому не приходили, произошел окончательный отсев: так или иначе дети узнавали, что и у них кто-то и где-то есть. Если и не запропавшая мамашка, то еще хоть кто-то, старая бабушка, например... В окончательный осадок выпало совсем немного, но и ведь немало – душ десять. Им ничего не говорили, а они не спрашивали... Топоров был среди них.

Он давно перестал ждать затерявшегося гостя, а когда стал Топором и уж тем более Топорищем, смотрел на эти мамашкины явления со скрытым презрением.

Однако что-то мешало его выразить.

Ему, давно не стеснявшемуся выражать свои чувства.

К этому праву выражать свои чувства без всякого стеснения лежал длинный путь – во всю его жизнь. Впрочем, чувств у Кольчи было немного – как и у каждого из них. Он не знал, например, что такое нежность. Просто потому, что ничто и никогда не пробуждало в нем такого чувства, оно не требовалось в его жизни. Что-то щемящее толкнулось, правда, однажды ему меж ребер, когда на заднем дворе в дощатой клетке крольчиха родила крольчат и дворник Никодим дал ему в руки пушистый комочек. Дрожащая, теплая, беззащитная плоть, ощущение полной власти над ней родило в нем прямо противоположное чувство бесконечной слабости и желания слиться с ней. Он постоял, покачиваясь, прижимая к животу пушистый комочек, потом положил его к крольчихе, поглядел еще недолго на маленьких ушастиков, отправился по своим делам и сразу забыл про непонятное ощущение, толкнувшее его куда-то левее и ниже горла, а увидел этого – или похожего – кролика через несколько месяцев в виде скользкой туши, освобожденной от шкурки, совсем ему незнакомой, висевшей как тулуп летом, вывернутой мездрой наружу на дощатом заборе, огораживающем крольчатник.

Ничто в нем не шелохнулось, хотя он сразу сказал себе: это тот крольчонок. Никакой нежности он не вспомнил.

Не было в нем и любви. Ведь любовь сама по себе не возникает, вроде бы не летает в пространстве, будто чайка. Может быть, она похожа на эхо, ведь ее смысл – обязательно в ком-нибудь откликаться. Сильное сердце рождает любовь, она исходит невидимыми волнами, ее ударяет в другое сердце и, если вызывает ответ, возвращается назад – и так они обмениваются незримыми волнами, неслышными словами, предназначенными только для двоих, и любовь жива, пока сердца способны излучать адресованные друг другу сигналы.

Есть волны, обращенные от мужчины к женщине, но начинается в мире все не с этого, а с волн, которые обращены от больших к маленьким, от матери к дитю, от отца к своему малышу.

Но движутся ли к чужому ребенку эти волны? Вряд ли, хотя слов об этом сказано великое множество, да толку-то? И еще если этих чужих детей – почти три сотни?

Нет, в безответном мире любви не бывает, и пустое дело ждать ее от тех, в чье сердце ни разу не стукнула волна взрослой нежности. Откуда взяться ответному импульсу? Куда направить свою собственную волну, если ты даже и жаждешь обратить извне свое чувство? На взрослую тетю, которая ответит устало-равнодушным взглядом? На друга, который, как и ты сам, пуст и не изведает живящей волны интереса к себе?

Увы, увы, пуста, не заполнена добрыми чувствами аура детского интерната, зато полна чувствами недобрыми, рано

повзрослевшими – у чувств ведь тоже есть возрасты.

Среди интернатовских была темная забава – курево для лягушек. Отыскивали лягушку, желательно покрупнее, раскуривали папироску и всовывали ей в рот. Лягушка сразу раздувалась и, если из нее папироску вытащить, пускала струю дыма. Все интернатовские хохотали, для них это была элементарная шутка, а вот посторонние, даже пацаны, не говоря уж о девчонках, шарахались в сторону и торопились поскорее уйти. Поэтому, поймав лягуху, Кольча в окружении своей братвы выходил на улицу, ждал, когда кончатся уроки в соседней, «нормальной» школе, и учинял аттракцион как бы напоказ, когда приблизится кучка посторонних, штатских зрителей.

Себя они считали вроде как военнообязанными, еще точнее, рекрутами, но это слово пришло позже, после пятого класса, когда его узнали из учебника истории. Впрочем, и понятие военнообязанный тоже являлось откуда-то сверху, из старших классов, из взрослого мира, осознание же своей особенности приходило из собственного нутра: да, в отличие от этих гражданских, штатских, родительских школяров, интернатовских объединяло нечто обезличенное, государственное, до поры до времени прикрывавшее их и позволявшее делать если и не все что угодно, то многое из того, чего этим, родительским, возбранялось, за что штатским воздавалось дома, а дом интернатовцев был слишком велик, чтобы возились с каждым за каждое прегрешение, да еще

совершенное целой толпой! Когда же ты грешишь не один, а вместе с товарищами, спрашивать, в сущности, не с кого и наказывать некого. Не накажешь же сразу семерых-восьмерых. Вот почему курили мальчишки поголовно с пятого класса, а некурящий был белой вороной, и долговязый Георгий Иванович, не говоря об училках и воспитательницах, ничего с этим поделать не мог. Выходило, пацаны из «нормальной» школы если и покуривали, то тайком, это для них было геройство и нарушение правил, интернатовцы же смолili не таясь, даже наглея, просили прикурить у взрослых прохожих, которые, окруженные толпой хихикающих пацанов с наглыми взорами, заметно робели и вместо того, чтобы шугануть малолеток как следует, с готовностью щелкали зажигалкой или доставали коробок спичек.

Так вот и определялся возраст жестокости.

То, что было не с руки даже десятиклассникам из родительской школы, полагалось нормой среди интернатовских, включая совершение забав вроде курящей лягушки или налетов на чужие сады, регулярных наскоков на старшеклассников из «нормальной» школы – дабы подчеркнуть их ненормальную слабость, нечастые, но случавшиеся все же время от времени взломы садовых домиков по окраинам городка или полудеревенских, вырытых в земле частных хранилищ овощей, где народ прятал законсервированные в банках помидоры, огурцы, овощную икру и прочую снедь, включая даже мясную тушенку.



Продукты воровали не из-за голода, а из-за желания испытать слабость закона, ведь чаще всего грабителей находили, но проводить серьезное разбирательство, судить, отправлять в колонию из-за нескольких, пусть и трехлитровых, банок с тушенкой да пары-тройки сосудов с огурцами никакая милиция не решалась, то ли потому, что речь шла не об одном воришке, которого следовало изолировать, а о целой группе, в которой ни один никогда не назовет заводу по неписаным интернатовским правилам, то ли потому, что милицейские и другие государственные чины, видать, в душе не сильно отделяли интернат от колонии, сливая их в своем сознании почти в одно и то же, а может, все-таки жалели ребят, понимая, что из колонии им ход один – на большую дорогу, а тут, глядишь, ничего, вырастут и как-то устроятся: нынче и семейные дети – оторви ухо, чего уж про интернатовских говорить.

Ну а Кольча, вырастая потихоньку параллельно со всеми остальными своими корешками-интернатовцами, нутром и кожей все яснее чувствовал свою – и всех их – особенность. Она состояла в том, что, отвергнутые родными – очевидными и безвестными, – они становились как бы собственностью государства, его грузом, и никуда оно, родное, от них не денется – будут они в интернате, колонии или позже во взрослой зоне. Везде ему придется их кормить, поить, обувать, одевать, не дать заболеть, а коли заболеют – лечить, в общем, возиться, как возятся со своими детьми их родители. Ну а

если у детей нет родителей, так тому и быть: возиться должно государство посредством своих многочисленных Георгиев Ивановичей, училищ и воспитательниц на всем протяжении великой нашей и неповторимой отчизны.

И хотя внятных представлений о необозримости своей отчизны Кольча сотоварищи не имел, как и о масштабе и бедственности заведений, в одном из которых пребывал, он ясно ощущал главное – что Родина его похожа на замусоленных мамашек, которые в полутрезвом состоянии являются на интернатовский двор, чтобы быть облитыми слезами своих детей и обсмеянными их сверстниками, что отчизна, взявшая их под покровительство, не справляется с материнскими своими обязанностями, а за то должна быть помалу и наказана своими непутевыми детьми.

Чем? Да разным. Но для начала тем, чтобы прощать их мелкие пакости, их налеты на овощные ямы, синяки и шишки их благополучным сверстникам в качестве компенсации за несправедливость судьбы, их с малолетства желтые, не очень чищенные и прокуренные зубы, виртуозное обращение с непубличной, непечатной частью русского языка, взрослую жестокость и незнание любви, нежности и других сопливых чувств, от которых, как хорошо известно в интернатовском обществе, ни тепло, ни холодно.

Бессознательно жизнь учила их эффективным чувствованиям – беспощадности в борьбе за самого себя, краткости товарищества и дружбы, простиравшихся только до опреде-

ленного предела, например, до границы, внутри которой может существовать каждая проказа и общий ответ, но за ее чертой не было ничего, никаких обязательств и привязанностей – там каждый избирал свое сам.

Они нападали толпой, отчетливо зная, что, если обиженные толпой же поймут тебя одного, жаловаться некому и придется за всех ответить самому, помалкивая и не ища ничего утешения.

Не требуя того публично, внутренне они ждали от мамашки-отчизны еды три раза в день, желательно чистой постели, подспудно ждали ученья, пригляда, крыши над головой и теплых батарей в палате, внятно сознавая, что без этого будет плохо, и подсознательно чуя, что, лишившись этого, им предстоит чего-то сделать.

Чего – этого они точно не знали. Может быть, учеба, работа, еще что-то такое, чего они тайно страшились. И что было далеко впереди. Пусть даже и произойти это должно через месяц, и об этом все знали.

Отсутствие чувства времени – еще один признак казенного сиротства. В спальнях не бывает больших настенных часов, окружающие, как это происходит с родителями, никуда не торопятся, поглядывая на часы, поторапливая детей, нервничая и создавая ситуацию, когда ощущаешь срок, знаешь час и чувствуешь минуты.

У самих интернатовцев часов нет, так что все они делают не по минутным стрелкам, а по командам. Команда – подь-

ем. Команда – на завтрак. Закричит воспитательница, значит, надо что-то дальше делать по ее расписанию, например, идти на прогулку. На какую-нибудь репетицию. На самостоятельные занятия. Ну и, конечно, по команде – криками и звонками – на уроки в соседний, школьный корпус. А там. звонок – урок, звонок – перемена, снова урок, и так считают до пяти, до шести – кому сколько полагается. Часы снова не нужны.

Бывало, часы дарили выпускникам. Или шефы какие расщедрятся, или Георгий Иванович сам поднапряжется – то ли купит, то ли просто раздобудет, и, бледнея от торжественности момента, жмет на прощальной линейке каждому руку, вручая бесценный дар хоть и отечественного, не самого лучшего производства.

Но Кольча знал, как знали почему-то и все остальные, что это бесполезняк: часы дарят поздно. И ребята, выросшие в интернате, разбежавшись кто куда – на учебу или работу, – все равно станут просыпать и опаздывать, зарабатывая всякие небрежные эпитеты, потому как всю жизнь шевелились по командам, а теперь эти команды исчезли и приходилось жить по часам, к которым они никак не смогут привыкнуть.

Вот так, почти по народной поговорке – счастливые часов не наблюдают, – только с обратным, зеркально перевернутым смыслом, не наблюдая счастья – с часами или без часов, – не понимая, что такое счастье, равно, без особых потрясений, вместе со всеми, как трава на лугу, вырос в интернате Коля Топоров.

Сам он не знал – и никогда этим не интересовался, – как сюда попал. Сколько помнит себя, всегда помнил эти заурядные интернатские корпуса из серого кирпича, дощатый, посеревший от времени забор, асфальтовый подъезд к столовой и главному подъезду, сараи за стеной у школьного корпуса, где дворницкий инвентарь Иннокентия, и самого дворника, рыжеусого мужика неизвестных лет, который как будто бы не старел – был все таким же прямоугольным, могучим и рыжим с тех пор, как сознание Коли зафиксировало его среди всегдашних вещей интерната.

Он и директора Георгия Ивановича, главную жилу интерната, и училик, и воспитательниц, которые то и дело менялись, рассматривал как вещи, а не как людей. Живые, но вещи. Потому что они тут были всегда, говорили, что должны были говорить, и ничего лишнего, что сделало бы их особенными, каким-то образом выделило среди остального множества живых вещей, не делали.

Впрочем, это, конечно, не так. Георгий Иванович был все-таки не вещью, хотя и человеком он для Кол и пока не стал, потому что ничего особенного между ними лично не происходило. Ну, раз десять-двадцать делал он Кольче замечания, чаще всего не индивидуально, в числе прочей публики, ругать-то ему приходилось все больше целые группы, а не личности. Ну, позвал в свой кабинет, чтобы показать личное дело, когда Топорик подрос. Уговаривал доучиться – к чему, мол, спешить – неуверенно, Впрочем, уговаривал, без всяких эмоций, без лишних слов. Да тетя Даша ведь сказала как-то про директора, будто невзначай обронила, по-своему пожалев: «Он, как конь на току, ходит по кругу, глаза зашорены, ничего, кроме круга своего, не видит, а то скопытится, падет». И – да, была еще одна живая не вещь – вот эта тетя Даша – повариха.

Толстая, распаренная, с головой, будто белоснежной короной, упакованной таким форсистым кулем из накрахмаленной белой марли, тетя Даша, признанная ветеранка интерната, преобразованного из детского дома еще до назначения даже самого Георгия Ивановича, приходила на работу затемно, гоняла целую бригаду своих помощниц помоложе, тоже увенчанных крахмальными коронами, – они чистили, отваривали, толкли картошку, жарили котлеты, без конца что-то крутили, мяли, жали, шипели сковородками и булькали котлами – именно так это выглядело. Не сковороды шипели на огне от жара, не вода кипела от высокой температуры, а

эти женщины, казалось, управляли шипением и бульканьем, и сковороды с кастрюлями были продолжением их рук, инструментов, звучащими в их поварском исполнении. Вот ведь у знаменитого скрипача скрипка не сама по себе играет, она звучит старанием музыканта. Так и тут!

Кухонные звуки менялись, когда ребяшня заходила на завтрак или обед. Гремели поварешки, стучаясь о края огромных кастрюль, шипение притихало, пространство заполняли детские голоса, и тетя Даша – потная, розовая, чрезмерно толстая, как тюлениха, выходила в залу и прислонялась к стене.

Она разглядывала жуящий люд, и в глазах у нее частенько поблескивали слезы. Кольча удивлялся про себя, что, столько лет работая гут, тетя Даша все еще готова утирать щеки.

Где-нибудь классе в третьем на него накатила подозрительность. Ему пришла в голову мысль, что тетя Даша просто надувает местных простаков и, перед тем, как выйти в залу и прислониться, пригорюнившись, режет лук. Слезы, как известно, от чистки лука сразу не проходят, вот она и разыгрывает сцену.

Он стал приходить чуть раньше, чем все, усаживался поближе к раздаточному проему, чтобы видеть, кто и чем занимается на кухне, но подозрения его не подтвердились: тетя Даша, перед тем, как выйти к едокам, лук не резала.

На самое малое мгновение Кольча тогда как бы усовестился, впрочем, это было уже чувство, а они росли в бес-

чувственном мире, так что скорее всего он испытал краткое неудовольствие, признание своей ошибки, опровержение предположения.

Себя он не укорил, хотя ведь тетя Даша выделяла его. Иногда она присаживалась к нему на освободившееся рядом место, вздыхала, облокотясь, смотрела на него жалостным взглядом и чаще всего на разные лады повторяла одну и ту же мысль, что, дескать, вот ведь кормит она Кольчу всю его здешнюю жизнь, начиная с трехлетнего его возраста, и, таким манером, все его существование помещается в ее поварской стаж. При этом она предлагала Кольче добавки, и он, когда было что-нибудь вкусненькое, от нее не отказывался.

Лишний там стакан киселька или еще полкотлетки, особенно когда подрост и аппетит порой разыгрывался просто волчий.

От него, от Кольчи, в ответ говорить ничего не требовалось, он всегда ел молча, изредка взглядывая на тетю Дашу своими льдистыми, светло-серыми глазами, не выражающими ответной благодарности или каких-либо душевных чувств.

Эти проявления внимательности отнюдь не перевели бы тетю Дашу из разряда живых вещей в человеки, если бы не еще одна ее особенность.

Вечером, после ужина, она уходила с тяжелыми сумками в обеих руках. Лучше всего она ощущала себя при этом зимой, в сумерках, но летом ей было явно не по себе. Да еще когда



есть такие, как Кольча.

Время от времени он караулил тетю Дашу и вставал у нее на пути. Стоял молча – и просто смотрел. Тетя Даша отворачивала взгляд, разглядывала ничем не примечательные стены интерната, а летом глядела под ноги и, увидев Кольчу, убыстряла свой мелконький, семенящий шаг.

Эту свою забаву Топорик приобрел все в том же третьем классе, но тогда он здоровался при пересечении с поварихой. Она ему щедро улыбалась, полагая, что он еще мал разбираться в незримом, подозревать кого бы то ни было, а уж тем более судить.

Но по мере того, как Кольча вырастал, здороваться он перестал, ведь это было смешно, они же виделись за день как минимум три раза – на завтрак, обеде и ужине, а часто тетя Даша еще и присаживалась к нему, излагая одну и ту же, лишь словами отличающуюся теорему, да еще и подносила добавку, так что здороваться вечером было глупо. Он просто стоял и просто смотрел, сунув руки в карманы, молчал, а про себя думал безответно все о том же: можно ли искренне жалеть его и других и тут же воровать.

Что воровать тетя Даша имеет полное право, ни Топорик, ни кто другой среди интернатовцев не сомневался, да и само это слово «воровать» никак не вязалось с толстой и слезливой тетей Дашей. Она готовила еду и брала для себя и своей семьи – разве нет у нее такого права? Так что она могла уносить.

Но зачем же тогда слезиться?

Тетя Даша шла на него: не нагличая вконец, шагов за десять, он отступал в сторону, но не отрывал глаз от округлого, с висящими щеками лица, пока, оседая под тяжестью своих сумок, точно атлетка под весом гирь, тетя Даша минует его, многолетнего, молчаливого, не возражающего – кого? Судью? Свидетеля? Соглядатая, ни на что не имеющего прав? А может, подкупленного добавками соучастника?

Нет, в том-то и дело, что за много лет наблюдений Кольча верил в искренность тети Даши, знал, что она выделяет не только его одного и у нее есть свой, откуда-то вынужденный принцип особенного ее отношения: она отмечала всех, кто выпадал в последний остаток, кто никого давно не ждал и, похоже, не имел прав на ожидание. Это во-первых. Во-вторых, тетя Даша имела слабость, признаваемую им законной. Человек без слабостей – это только служба, а значит, только функция. Может, тетя Даша жалела еще кого-нибудь на стороне и носила продукты ему?.. Мало ли...

Судят ведь только сами ничего не совершившие, безгрешные, а потому отвратные.

Тот, кто согрешил хоть в малом, не торопится стать судьей.

Но Кольча ничего не мог с собой поделать. Не часто, но все-таки иногда, время от времени, он становился на пути тети Даши, и та проходила мимо, опуская голову под его немигающим водянистым взглядом.

Не злясь, не переживая, не любя и не ненавидя, Топорик всякий раз повторял, даже сам того не сознавая, один и тот же основной урок: все грешны, безгрешных не бывает.

Итак, он рос, как травинка на лугу. Бывают, конечно ведь, луга культивированные, где землю обрабатывают, удобряют, а траву сеют. Из отборных семян, ясно дело, вытягивается тугая, ровная зелень, красивая и полезная. Но есть луга дикие, ну хотя бы заливные. Река по весне захватывает эти земли, наносит на нее сор, но, видать, подкидывает илу или еще каких-то неведомых мелких частиц, а когда весенний паводок сходит, заливной луг сияет травным изумрудом ничуть не хуже, чем культивированный, а если среди ровной, рвущейся к жизни травы выше всех вырвется чертополох, репейник или белена – что поделаешь, ни один естественный, необработанный особо кусок земли не обходится без сорняков, которые застыт свет, чернеют на фоне безоблачных небес, забивают все растущее понизу, особенно, если у нижней травы слабые корни.

Время от времени на Колю накатывал какой-то стих, будто из неведомых ему его собственных кровавых глубин, незримых, пока человека не распоросуют, как из тайных недр земли, где кипят безумной жаркости магма, газы и Бог знает еще что, на самом деле управляющее жизнью на планете, похожее на вулканическое извержение и землетрясение враз, выходило наружу, корежило, прерывало дыхание, выбивало нездоровую, бесстрастную слезу.

Он, допустим, лежал на своей скрипучей деревянной койке с блестящей, лакированной стенкой в ногах перед сном, когда отбой уже прозвучал командой воспитательницы, но свет еще не вырубили и отставшие стягивают с себя носки, чтобы нырнуть под одеяло, а он уже лег, растянулся, пытаясь расслабиться, – и тут, без всякого предупреждения, без повода, без знака, из него что-то выпучивало, выгибалось, лезло, неясное поначалу, в самые малые его годы, но потом все-таки каким-то образом выражаемое...

Он терял опору под собой – вот как это выглядело. Однажды, на речке, когда, как и многие другие, он учился плавать под наблюдением Георгия Ивановича – длинного, нескладного, худого, в длинных семейных трусах, будто какая несуразная цапля, стоящая по колено на мелководье, и приглядывающего за всеми сразу, – так вот, однажды, побулькав на отмели и решив по глупости, что освоил новое умение, Кольча оттолкнулся ногами ото дна и сделал несколько лихорадочных гребков в сторону глубины. Тут же он опустился снова, норовя опять оттолкнуться, но дна не нашел, оно исчезло, и его повело вниз – вот тогда он и ощутил это странное состояние: снизу живота, к пупку, а потом к горлу стрелой пронеслась какая-то озаряющая последняя молния, которая помимо желания включила все его силы – ноги и руки отчаянно задергались, он выскочил наверх и тут же оказался в руках у Георгия Ивановича, стоявшего теперь не по колено в воде, а по самое горлышко.

Тот, не расходуя слов и даже, кажется, совершенно не волнуясь, каким-то умелым ухватом взял Кольчу за пространство между ног и за одну руку и резко толкнул к берегу. Дальше Кольча уже надыбал ногами дно, выбрался на берег, сел прямо в прибрежную, затоптанную ребячьими ногами глину и долго, не глядя по сторонам и особенно боясь встречного взгляда Георгия Ивановича, оклемывался, приходил в себя, вспоминая жуткую молнию, просквозившую всю его суть.

Вот так же – не тело его пробивая, не нутро, а все нервы стягивая странным замыканием, корежа что-то такое, что важнее кишок и даже самого сердца, ломало Кольчу без всякого на то предупреждения – не часто, но иногда, и чем старше он становился, тем все больше, что ли...

Постепенно, взрослея, он ловил себя на том, что эта ломка случается с ним чаще всего после разговоров о мамашках, например, после того, как мамашка являлась к кому-нибудь из их палаты, и ребята то вяло, то с ехидцей, но всегда без злого смысла – все ведь такие же, почти все – рассуждали на тему родни, родных мест, неведомых отсюда, из этого серого интерната, о пьянствующих и гуляющих матерях.

Эх, взрослые, беспутные люди! Включить бы на всю Россиюшку прямую трансляцию по тайно проведенной радиолинии того, что говорится в предотходной, предночной мальчишечьей или девчоночьей спальне, о вас, родные кровинушки, родительницы, благодетельницы – про мужской

род уж и вовсе помолчим. Эк бы покорежило вас, ежели, ясное дело, вы не в стельку покоитесь в сей не совсем поздний час, если головушки ваши грешные не затуманены сивухой, если вы вообще еще в силах соображать и хоть что-нибудь чувствовать.

Когда выключен свет, а воспиталка ушла, пожелав спокойной ночи, а перед тем, не стесняясь свидетелей, посоветовав какому-нибудь ушастику Макарову не обоссаться этой ночью, употребив при этом, конечно же, вежливое слово «описаться», потому как, к примеру, в шестом классе пора уже воспитывать волю и без медицинских вмешательств самому избавляться от энуреза, в просторечии – недержания мочи, так вот, когда выключен свет и серая, как весь интернат, гримза, ненавидящая их всех Зоя Павловна, только и думающая, как бы поскорее слинять домой к своим двум сопливым дочкам, притворяла дверь, начиналась новая, предсонная жизнь, которую очень даже запросто можно назвать духовным исканием. Но точнее – духовным барахтаньем.

– У-у, с-сука, – с отяжкой, страстно стонал Васька Макаров, вовсе не боясь, что Зоя Павловна услышит, да еще и вернется, чтоб прочесть мораль, одну из своих занудно-визгливых педагогических проповедей: все знали, что воспиталка для того и носит на работе мягкие тапочки, чтобы прямо от дверей бегом рвануть к выходу, а цокота ее каблуков не было слышно, и, переодевшись в воспитательской, такой же трусцой податься за ограду. Ежели она по графику оста-

валась дежурить, то тогда, применяя на практике науку психологию, она, наоборот, надевала туфли на каблуке – чтоб ее приближение слышали заранее, особенно наутро, перед побудкой, да и ночью, когда она делает ночной обход. Ты и спишь, допустим, крепко, но уши улавливают стук надзирательских каблуков, и невольно голова глубже вжимается в подушку, а веки сжимаются еще крепче, тело обмирает и сердце стучит медленнее, утишая бег крови.

Вот такая вот иллюстрация к закону Павлова об условных и безусловных рефлексах во сне и наяву.

Так что Васька Макаров, у которого, прощаясь, воспиталка как бы сдернула трусы, с заботливым видом выставив на всеобщее обозрение и посмешище его и так всем известный позор, со смаком и ненавистью аттестовывал гадюку, по должности назначенную воспитывать, охранять и жалеть, вызывая ответные добрые чувства, и эта аттестация могла продолжаться в богатом словарном облачении минут пять или даже десять, если кто-нибудь не говорил ему, к примеру: – Да брось, Макарка, выйдем отсюда и ее утопим!

Макарка успокаивался, рисовал в мозгу радостные картины утопления ненавистницы, обрадованно вскакивал, забывая при том, что речка от них далековата и он, Макарка, само то плавать не шибко силен.

Впрочем, даже если он скрипел зубами и сквозь ночные слезы, с подвывом, угрожал: «Утоплю гадину, утоплю», – ничего серьезного за этими стонами не стояло, надо просто



знать интернатовскую природу, по которой ничего, в сущности, до конца не доводилось.

Угрозы, за исключением мелких и коротких стычек между мальчишками, не исполнялись, ненависть, пыхнув жарко, не разгоралась, мат пугливо примолкал при взрослом приближении. Настоящих, длительных конфликтов тут не происходило, потому что такие конфликты могут разгораться при наличии сильных чувств. Но чувствам, повторим, здесь не находилось места: не путать с истериками, срывами, криками, которые случались неожиданно, часто ни с того ни с сего, но и заканчивались так же резко, как начинались, будто обрывалась какая-то нервная нить. Вот и Макаркина угроза утопить отвратную всем воспиталку оборвалась после первой же смены пластинки, так и не оформившись ни во что серьезное, чтобы поутру, обнаружив под собой опять мокрую простыню, со страхом, но без всякой ненависти, скорее даже с готовностью быть вновь осужденным и ждать явления Зои Павловны в спальню, чтобы вновь публично, уже поутру, перед завтраком, точно лекарство, получить от нее выволочку, а потом, внутренне поскуливая, тащить в сушилку матрац и сдавать кастелянше проклятую простыню.

Успокаиваясь, хотя еще и глубоко вздыхая, Макаров уступал арену, допустим, Гнедому, пацану с вечной, несмотря на коллективные стрижки, гривой и на редкость длинными, желтыми от курева и неохотного употребления зубной щетки, поистине лошадиными зубами, что и явилось темой кли-

кухи.

Днем к нему в тот день являлась мамашка, принесла каких-то шанежек вместо того, чтобы таранить сигареты, чего требовал от нее сынок, и он в наказание за неисполнение пожелания только куснул одну картофельную шаньгу, остальные прямо на глазах у нее, вяло с ней переговариваясь, скормил тут же с охотой подбежавшим Тобику, Полкану, Жуче, то есть Жучке, и паре пока еще безымянных и случайно неутопленных Жучкиных щенков.

Мамашка, выструганная Господом Богом по единой несчастливой колодке, короткорукая и коротконогая, в женских сапогах большого размера, а оттого осевших в гармошку, причитала басом, покачивалась на толстых, бутылками, подставках, видать, под внутренним ветерком первого с утра полустакана, но с места не сдвигалась, а это означало, что не шаталась, и Георгий Иванович в своем тонком пальтеце и заячьей, вылезшей местами шапке стоял поодаль, лишь наблюдая, прислушиваясь, но не приближаясь и как бы в тему не углубляясь.

Гнедой скормил шаньги собакам, тем самым укрепив незримый авторитет интерната, где дети не голодают, обтер руки о свое пальто – тут уж от наследственности он скрыться не мог, – они постояли еще немного друг против друга. Помолчали.

– Ну чо? – спросил Гнедой.

– Да ничо, – миролюбиво ответила мамашка.

– Все пьешь? – спросил сын свою мать. – Все гуляешь?

– Дак чо поделаешь? – лениво и деловито ответила родительница. – Така жисть.

Им, в сущности, не о чем было разговаривать, и Гнедой, с его судьбой, не был чем-то из ряда вон выходящим. Пацаны и девчонки, живущие здесь, были слеплены судьбой, похоже, на одну колодку – безотцовщина и бездумная мать. Ей не хватало сил и духу на саму себя, и вот рос ее сын в казенке. Так что близости, откровений, слез, кроме как у малышей, с мамашками, повторим, не случалось. Встречи, можно сказать, происходили формальные, не отличаясь ни смыслом, ни содержанием.

Эдакими вот краткими диалогами все и кончалось, как правило. Ни он ей, ни она ему, в сущности, пока не нужны. Понадобятся чуть позже она ему, когда выйдет из интерната, начнет жить сам и рано или поздно придет к матери, не за поддержкой – что от нее ждать? – так хотя бы поглядеть, как она там, а он ей – когда постареет, когда стакашек-то некому станет подносить, вот и вспомнит, поползет, хоть на брюхе, просить угла и внимания – если, правда, будет к кому ползти и не сгинет преждевременно ее дитяtko во вселенском котле, что чаще всего и случается.

Но это будет когда-то – да и будет ли вообще? – а пока Гнедой, перебирая, видать, прошедший день, скажет раздумчиво вслух о своей мамке:

– И сколько же она мужиков сквозь себя пропустила, бля-

дина старая?.. Я ведь, пацаны, даже отца своего не знаю – какой он из себя, этот мужик? И она не знает! Она же, мать-перемать, по молодости-то по пятерке за ночь пускала...

– Чего по пятерке? – не домыслив, спрашивал, бывало, Кольча.

– Да по пять мужиков за ночь в нее сливало! Вот и не знает, чей я! Выблядок, вот и все.

Что-что, а слово это, и его сущность – выблядок – знали они все хорошо, пацаны из серого интерната.

Чистеньким, ясеньким, безупречненьким деткам надобно пояснить: грубым этим словом называется тот, кто рожден внебрачно, незаконно, а то и вот эдак, как Гнедой, – неизвестно от кого.

– А я своего кобелину знаю, – вступал не по здоровому толстенный Гошман, вообще-то Гошка, но в силу влияния американских фильмов на телеку и непохожести на остальных получивший кличку, выведенную путем скрещивания простого русского имени с англоязычным обозначением мужчины. – Он на аэродроме механик...

Что-то, видать, в этих двух словах было для Гошмана завораживающее. Ни на аэродроме никто из них не бывал, в том числе и он сам, ни механика не видал, а соединение механика с аэродромом обозначало очевидное качество, незнакомые запахи металла и даль них земель, машинного масла и мужского пота, что все вместе, конечно же, есть невиданное благоухание и очевидная надежность. А это не могло не вызывать сомнения.

– Откуда знаешь? – сонным голосом выступало оно.

– Мамка говорила, – отвечал Гошман.

– Мамка скажет, – вздыхал в ответ равнодушно-опытный голос. – Да и видал ли ты его?

Гошману теперь приходилось защищаться, идти в наступление, но далеко не уйдешь, не ускачешь, это знали все.

– Не видал, но вот выйду отсюда, найду, может, научит чему аэродромному.

Деревянные кровати начинали поскрипывать, вздохи уча-

щались, не желающий в сто первый раз задирать Гошмана, народ умащивался поудобнее в своих гнездах, молчанием выражая недоверие к надеждам Гошки, а он, чуя это, вяло заводился:

– Вы чо! Вы чо! Не верите?..

– Верим, верим, – зевая, отвечал кто-нибудь.

Тоска Гошмана находила в спальне незримое понимание, каждый из них желал втайне чьей-то взрослой надежности и силы, ни разу в жизни еще не встретившись с ними.

И откуда вообще они знали, что все это есть, бывает? Имела-ли даже право пробуждаться-то такая странная надежда именно у таких детей – ведь нам хорошо известен детский феномен незнания.

Ну, допустим, ребенок не знает от рождения, что такое черная икра, а ему вдруг ее предлагают. Он видит что-то скользкое, странное, ничего хорошего ему не напоминающее – и его от этого просто воротит. Такое случится чуть позже и с Кольчей...

Ежели ребенок живет в постоянной грязи, он привыкает обходиться без мытья, больше того, баня, душ или ванная его пугают, он орет, сопротивляясь, когда на него направляют теплую струю, другим ребенком, привыкшим к этой процедуре, воспринимаемую с радостью и даже ликованием.

Дети, употребляющие одну и ту же пищу и с рождения не знающие иной, кроме, например, макарон или картошки, отодвинут в сторону красивые и полезные овощи.

И так во всем. Не изменяют человеку только рефлекторные качества – голод, жажда, холод, страх. А качество еды, чистоты, образа жизни могут оказаться самой низкой пробы, но, не зная о другом, дети и не требуют этого другого. Отсюда синдром нетребовательности, незнания.

А потому великая тайна есть в необъяснимой жажде взрослой надежности.

Откуда в опыте жестокой безнадежности такое желание надежды?

Гошман был изуродован самим зачатием: то ли пьянством, то ли болезнями взрослых, слившихся в нем, неправильной стыковкой невидимых генетических цепочек, он хоть и явлен свету во внешнем физическом благополучии – с руками, ногами, обычной головой, но внутри него с самого рождения было определено какое-то природное порушение: к шестому классу он был рыхлым, пухлым, с висящим животом, точно обожравшийся здоровяк взрослых лет. Что-то в нем работало не так, какой-то природный механизм был запущен в обратную сторону – не к расцвету и молодости, а к дряхлости и старению. А душа у Гошмана сделана очень даже правильно.

Он всех жалел – и Жучкиных щенят, еще слепых, пищавших, но уже приговоренных Иннокентием по приказу Георгия Ивановича к смерти через потопление, и всякого пацана, всякую девчонку – и младше, и старше его, это не важно – за разбитую коленку, порезанный палец. Он утешал Мака-

ку по утрам, хотя все остальные хулили известного сыкуна, правда, хулили по незнанию, а Гошман знал, в чем тут дело, и Кольча знал, и потому Гошман просто хлопал Макарку по плечу, поддерживал, как мог, или помогал тащить матрац на забор – чтобы просох, или же сопровождал его к кастаньянше, вовсе не считаясь близким корешком Макарова. Просто такая душа была у Гошмана – настоящий мен, мужик, добрая душа.

Кольча же Топор потому и таскал свою лихую кличку, что по непонятному старшинству среди равных себе всегда свободно останавливал любые отклонения от нужного ему курса, и если на Макарку наезжали сверх люфта, дозволенного в спальне, то говорил энтузиасту или энтузиастам с небрежностью и негромко:

– Заткнись! – будто забивал гвоздь обухом.

Этого вполне хватало, чтобы разговор тут же менялся. Никогда не было в Кольчином поведении чего-то угрожающего, не был он сильнее других или старше, и все же неспроста звали его Топор. Пацан как пацан, но даже внешне он не такой, как все: ровный, даже бесстрастный, с водянисто-серыми глазами, устроенными так, что когда он глядит в упор, то становится не по себе. И еще кажется, когда он смотрит, что будто знает что-то такое, чего никто не знает, и, если надо, станет действовать на основании этих своих тайных знаний. В общем, надо ждать от него чего-то непонятного.

Но время шло, и Кольча только смотрел на окружающих –



сверстников и взрослых, — отодвигая их от себя своим взглядом, возводя между ними и собой невидимый барьер, заставлял отступать, с ним не спорить, опускать взгляды и головы. Но ничего такого удивительного не делал.

Что же касается знаний, неизвестных другим, то — да, кое-чего у него было, хотя и не сказать, чтобы уж совсем никому неведомое.

Про Макарова, например, он знал, и хотя интернатовские тайны по разным причинам недолго почитались тайнами, Макаркино дело ходу не получало. Может, потому, что из ребят его узнали только Гошман да Топоров, а директор на такие темы вообще помалкивал.

Однажды Макарка заболел какой-то заразой, несильной, впрочем, в больницу его не засунули, но в изолятор отправили, а когда он стал поправляться, Топор и Гошман пробились к нему.

Изолятор был комнатухой одной из самых светлых и чистых в корпусе, где располагался вещевой склад интерната — с отдельным, ясное дело, входом. Рядом находился медпункт, куда можно было приходить по случаю любой травмы, пореза или синяка и где хозяйствовала фельдшерица Настасья Никодимовна, дочка интернатовского сторожа, закончившая недаленое медучилище. Там же, в том же отсеке, находились еще две палаты по четыре койки — на всякий пожарный случай, а в изоляторе стояли только две, и чаще все эти пространства пустовали, за исключением зимних эпиде-

мий гриппа.

Макарка лежал один, стоял тогда тихий осенний день: паутина летела по интернатному двору, сыпались листья с берез и кленов, и один нарядный кленовый лист Гошман захватил в подарок болящему.

Они сидели вокруг Макарки непривычно тихо, наверное, умиротворяюще действовал осенний остекленевший день за окном, и вдруг ни с того ни с сего Макаров стал рассказывать им про себя – спотыкаясь, ломая слова, будто неловко ломает спички человек, не умеющий закурить...

Коля и Гошка узнали Макаркину тайну от него самого, и хотя сам он, похоже, не все понимал, не все запомнил и не все мог осознать, даже по прошествии стольких лет история вызвала в пацанах равное содрогание.

Макаркина мать, как и многие мамышки, все выходила и выходила замуж за новых мужей, как объясняла она шестилетнему Макарке, и он уже устал удивляться тому, как часто мама это делает: бывало, новый дядя, его новый папа, жил с ними всего одну неделю.

Потом мать перестала уже и говорить это слово – «муж», и новые дядьки менялись каждый день. Макарку мать укладывала спать рано, и если он не засыпал, требовал, чтобы его пустили посмотреть телевизор в общую комнату, она кричала. А потом стала давать ему таблетку. Он глотал ее и просыпался на другой день часов в двенадцать дня, когда дяди уже и в помине не было и напоминали о нем только пустые

бутылки на столе, тарелки с остатками засохшей колбасы, капуста да остывшая картоха.

Макарка доедал эту колбасу, капусту, картошку, а потом включал телевизор и ждал, пока придет с новым дядькой мать, торопливо накормит его на кухне и отведет в свою комнату, а там опять начнет совать ему в рот снотворную таблетку, чтобы не мешал.

Пацан, в общем, матери не сопротивлялся, да однажды — будто его кто в бок толкнул — взял таблетку в руку и, пока мать отвернулась, спрятал ее, воду из стакана выпив, будто снотворное запив.

Ему не спалось, ясное дело, ведь укладывали его часов в восемь, а то и в семь, и перегородки в доме были тонькухонькие, и дверей между комнатами не существовало — висела только занавеска из плотной ткани.

Макарка лежал, о чем-то мечтал, совсем детском, не очень вслушиваясь в голоса за стеной, привыкший к каждодневным мамкиным гостям. Но потом голоса стали громче и резче, мужчина крикнул матери, что она обокрала его, впрочем, это был не крик, а крикливое мычание — слова он выговаривал плохо, мать ему отвечала тоже так, будто слова ее размывало, Макарка поднялся с кровати, подошел босиком к занавеске, прикрывающей дверь, приоткрыл ее и застал самое страшное: мужик, совсем молодой, моложе его матери, почти пацан, сильно пьяный, схватил нож, которым они резали твердую колбасу и сало, — острый такой и короткий нож, и

всадил его в мать.

Она закричала, а он бил и бил, и тогда заорал Макарка. Парень с трудом отыскал его глазами, качаясь, пересек комнату, схватил мальчишку в майке, без трусов, босого, и тоже ткнул его ножом.

Больше Макарка ничего не помнил. В больнице, где он оказался, через неделю, наверное, к нему приходила незнакомая тетка в сером костюме с петлицами, следовательно, спрашивала его, как все было, но он заплакал, и врач, который стоял за плечом у этой тетки, стал требовать ее выйти, а она спорила, и тогда прибежала вызванная доктором медсестра и дала Макарке что-то выпить. Он опять уснул.

А потом, когда рана заросла, его отвезли сюда. Писаться по ночам он стал еще в больнице, хотя раньше, дома, никогда с ним такого не бывало. Могилу матери он не видел, но найдет ее, когда вырастет и сможет поехать в город, где все это случилось.

А рассказал он это Гошке и Коле, наверное, потому, что опять был в больнице, хотя и не всамделишной, а интернатском изоляторе.

Он показал им свой шрам. Это было давно, еще в школе не учился. И никак не мог Макарка избавиться от своего энуреза, хоть и старался изо всех сил – даже в ужин чай не пил. Но все-таки находилась в нем, собиралась эта вода, которая выливалась ночью в тайном ужасе.

Это, наверное, возвращался к нему его тот никак не забы-

ваемый страх.

Он ведь долго живет в человеке, да еще такой, как у Макарки.

Удивительное дело, мать свою Макарка вспоминал светло, плохого слова про нее не говорил, объяснял происшедшее «такой жизнью» и несчастьем, утверждая теорию, что все люди делятся на счастливых и несчастных. Где-то на интернатовском складе хранился большой чемодан с вещами Макарки, ему об этом сказал Георгий Иванович, но твердо добавил при этом, что даст ему заглянуть в этот чемодан только по достижении совершеннолетия. Макарка все время беспокоился – когда наступает это совершеннолетие. По одним слухам в четырнадцать лет, когда уже могут судить тебя за какие-то выдающиеся преступления и выдадут паспорт, по другим выходило – в шестнадцать, а по третьим – и вовсе в восемнадцать, когда разрешается голосовать.

– На фиг мне это голосование, – говорил Макарка, – скорей бы мне отдали этот чемодан. – И подбивал клинья к кастаньяше, чтобы хоть на минутку в чемодан заветный заглянуть. Но та утверждала, что чемодан хранится на особом складе Георгия Ивановича и ключ от него – в одном экземпляре – хранится у него дома, даже не в интернате. Между прочим, утверждала она, таких чемоданов там – не один и не два.

И еще директор сказал Макарке, что у того есть квартира, та самая, где убили мать и ранили его. Правда, теперь

эту квартиру по существующему закону, чтобы не платить за нее, заняли другие люди, но все права на нее у Макарова есть, а он, Георгий Иванович, его законный представитель, как бы отец, назначенный государством, и эту квартиру непременно вернет или добьется получения такой же. Можно не беспокоиться.

А Макарка беспокоился. В ту квартиру он возвращаться не мог.

Позже, в восьмом классе, он скажет Кольче:

– Если я туда войду, снова сразу обоссусь!

Можно было бы и рассмеяться. Непосвященный, может, так бы и поступил. А у Топора все внутри напряглось. Как не понять Макарова: снова переступить тот порог?! Перешагни, и все вернется. Во имя чего же тогда вся эта интерна-товская жизнь, все муки Макаркиного сопротивления: эти тоскливые утра, эта отвратная Зоя Павловна и тысячу раз высушенный матрац?!

И все же Макарка с его ужасом и мокрыми простынями, Гошман, добрая душа, живущий выдуманной надеждой, Гнедой, точно установивший свое безотцовство, отличались от Топорова.

Каждый из них знал о себе хоть что-то. Кольча не знал ничего.

Когда он стал соображать, подрастая, то по примеру других, к кому приходили мамашки, тоже принялся было кого-то ждать. Ожидание это носило туманный, совершенно неясный характер, ведь надо же в конце концов представлять себе, кого ты ждешь. Хотя бы смутно. А он, как ни тужился, ничего представить не мог.

Никто – ни Георгий Иванович, ни уж тем более воспиталка – до Зои Павловны это дело было, но и тогда время с ними проводила похожая на нее серая сямка в волчьей шкуре: одни только команды: «Подъем!», «Отбой!», «Строиться!», «Умываться!».

Кто только рожает-то этих женщин, которые равным им могут казаться и любезными, и воспитанными, и душевными, но стоит только захлопнуться двери, разделяющей взрослый мир от детского, когда старший по возрасту человек остается наедине с людьми малыми, но безродительскими, которым некому пожаловаться, не в кого уткнуться, запла-

кав, и некому пожаловаться на обиду и несправедливость, как эти женщины становятся истинными собаками, теряя человеческое обличье.

Они вечно раздражены там, как будто живут совсем без кожи, и стоит к ним прикоснуться, орут словно на операционном столе без наркоза. Может, неприятности жизни, накопленные дома или на улице, находят безответно благодатный выход за закрытой дверью среди малых душ – покорных и молчаливых, может, характер, несостоявшийся среди взрослых неустройств, неудачливость, несчастливость, неумение воспротивиться другим, таким же, но более волевым и властным, находит, наконец, отдушину в том, чтобы рассчитаться за свою неудачливость среди безответности и малости, – причина женской неукротимости и нелюбви. Букашка перед равными за забором, ты уже львица среди ничтожных, не умеющих постоять за себя, ничьих малышей. И чтобы не грызла совесть, представь лишь, что это не дети, а взрослые коротышки, досадившие тебе за воротами интерната.

Конечно, не все такие вокруг покинутых и отнятых детей, есть и добрые, душевные. Но хоть сколько угодно широкой будь женская душа, на два десятка ребят ее все равно не достает. Ну а Коле Топорову еще просто не везло. И никто никогда не услышал в нем тоски по матери, пока он был мал, никто ничего не сказал ему – а может, и говорить-то боялись? – никто ничем его не отвлек от такого рода безрадост-



ных ощущений, к тому же столь смутных, непонятных – сам бы он их выговорить не смог, а помочь ему – не выговорить, а понять и одолеть – никого не находилось.

Повторим, по природе Топорик был внешне спокоен, уравновешен, даже равнодушен, но за холодноватым и пронзительным взглядом его угадывались обманная глубина и скрытые страсти, подобно незримым подводным течениям спокойной сверху глубокой реки.

Он и сам не был бы в состоянии объяснить, что происходит с ним. Даже самому себе не признавался, что это что-то происходит действительно. Но ведь происходило. Чем старше становился, тем чаще.

А выражалось это вот теми изломами: вдруг ни с того ни с сего, без всякой внешней причины, его начинало корешить изнутри, ломать, как при гриппе. То, что можно было бы признать не мыслями, а лишь их частицами, мелкими кусками размельченного, разбитого, раскромсанного целого, вдруг начинало складываться в поражающую всякий раз мысль, в ветку, хлещущую по твоим же глазам.

Он опять терял дно под ногами, не умея при этом плавать.

Страшась, не желая знать о себе ничего нового, Кольча сопротивлялся этому внутреннему напору, старался разрушить волну, подступающую к горлу, но чем дальше, тем хуже у него это получалось.

Ведь кусочки мыслей, знаний, ощущений складывались, в сущности, в самый простенький, да вот какой тяжелый и

безответный вопрос:

– А ты кто?

Повторим: Коля Топоров представлял собой генетическую конструкцию, нетипичную для интерната.

Дети в сиротском заведении все сплошь излом да вывих, во всяком случае, признать спокойными их нельзя – сплошь невроты, а он спокоен.

Спокоен так, что, кажется, из него вынуты нервы. Вынуты, накручены на катушку из-под ниток и заброшены в дальнюю даль. Оттого и казался он совершенно бесчувственным, что вовсе не означало, будто он не видит, как мечутся, отчего мечутся другие.

Со стороны казалось, что перед вами совершенно уверенный в себе мальчик, а его спокойствие и немногословие обманывали окружающих, даже живущих рядом, заставляя предполагать, что он полностью благополучен. Ничего себе обманчик... Словом, получалось так, будто Топор выдает себя не за того, кто он есть. Его бы яснее поняли, если бы он матюкался, не стесняясь взрослых, дико орал в коридоре, как почти все остальные, переходя из учебного корпуса в спальный, давал жестоких щелбанов маленьким и беззащитным, точно сладостную музыку слушая их вопли, а потом отбредивался от наступления училок и воспитателей, улыбаясь и заранее зная, что безнаказан абсолютно и полностью – разве можно признать наказанием нудные, с одним и тем же набоб-

ром слов, нравоучения – а никаких других форм наказания в интернате быть не могло. К примеру, карцера.

Нет, дома, то есть там, где спал, ел, учился, Топор не резвился, не гулял, тем более не орал и не матерился, холодно поглядывая на других выскочек и прочих невыдержанных типов, которые при этом взгляде почему-то примолкали, особенно после его, Кольчи, шестого класса. Он вообще не любил материться, полагая сие показухой, хотя – и это узнал народ – заметно оживал за интернатской оградой, как бы приноравливаясь ко всему, что было чужим, не ихним, странно свободным, с одной стороны, и столь же странно ограниченным разными правилами и условностями – с другой. Вот эти-то условности и волновали Топорова, как бы бросая ему вызов.

Поэтому он пугал раздувшимися лягушками девчонок и пацанов из нормальной школы, курил – не таясь, а подчеркивая свою независимость – на улице, первым всегда подваливал к взрослым мужикам, требуя прикурить, а то и закурить, то есть саму сигарету, и здоровски у него это выходило при его спокойствии и стеклянном взгляде: взрослые робели от этого пацана, и никогда еще не было случая, чтобы отказали ему в его просьбе.

Колькины же компаньоны – независимо от возраста и интернатской сословности, малыши или же удостоенные кличек пацаны – балдели от кайфа, когда этот невероятный Топор, не матерясь и не строя грозного вида, просто пересе-

кал дорогу взрослому, останавливался у него на пути и, не заискивая по-детски, не умаляя себя своим возрастом или интонацией, уверенно просил, например, закурить, и взрослый мужик, сажень в плечах, останавливался перед этим худеньким пацаном, этим ивовым прутиком, и, раз глянув в его стеклянные шарики, старался больше не заглядывать в них, будто что-то засек там опасно-неприятное, торопливо хлопал себя по карманам, доставал пачку и выстреливал сигареты.

Как известно, от щелчка пальцем сигарет может выскочить несколько, так вот, Топор с его опасливо-угрожающим взглядом никогда не хамил, не лез на рожон, а брал всего лишь одну и холодно-вежливо благодарил. Хотя спроста мог взять две, даже три, и никакой мужик бы ничего не вякнул. Так по крайней мере казалось интернатским свидетелям.

Впрочем, всякий мужик мог мандражить перед кучей даже самых плевых пацанов: Бог весть, что у них на уме, и нет ли заточки или простого шила у самого малого из толпы, пойдя тронь его или обвини, если напорешься на удар. Пустое дело!

Так что, испытывая не напор толпы, а собственные возможности, Топор не раз и не два отвязывался от сопровождавшей его кавалькады и сам находил на мужиков, в одиночку, без свидетеля, и испытывал вновь и вновь неотразимость своего равнодушного взгляда.

Действовало безотказно!

В интернате же взрослые как бы обходили Топорика. Георгий Иванович к душеспасительным беседам с ним не стремился, видать, полагая, что у Кольчи и так все в порядке, или, напротив, считал, что не стоит близко приближаться к краю пропасти, в которую и самому недолго рухнуть. Остальные же взрослые – учителя, которых немало прошло мимо Топорика к восьмому-то классу, да и воспитательницы, все сплошь женщины, – после первых, весьма кратких, скользких контактов постепенно ограничивали себя служебного уровня отношениями: учителя – только спрашивая уроки, воспитательницы – лишь задавая самые необходимые бытовые вопросы.

К восьмому классу Кольча обходился без взрослых вмешательств, будто заводной, вставая, потребляя пищу, читая учебники, отвечая на уроках, переговариваясь с товарищами и банально шутя, моясь в душе, сдавая грязное белье и получая стираное. Он вполне вписался в тот, похожий на часовой, интернатовский механизм, который, в общем-то, работает сам по себе, если ты не выдрючиваешься, не ломаешь себя, не разрушаешь правила, в которые тебя поместили судьба и взрослые люди, из коих видим тебе лично, Коля Топоров, только один директор Георгий Иванович – долговязый, не очень разговорчивый, но, похоже, что-то лишнее знающий человек. Может, оттого и молчаливый.

В интернатовцах всегда сильно развит инстинкт конуры.

Взрослая собака – особая статья, да и та, где бы ни бежала, стремится вернуться на свое место, а вот щенки – у этих есть такой инстинкт, это точно. Подрастая, они отходят от конуры, но недалеко, и если вдруг какая опасность, опрометью летят под крышу домика и лают во все горло. Смелея и становясь старше, они кружат вокруг, познавая жизнь, а устав, возвращаются домой. Конура, по сути, подобие дома, а щенок ничем не отличим от ребенка в этой тяге к крыше, в инстинкте прятаться под укрытие, устроенное кем-то, если надвигается опасность.

Угрозой для интернатовцев был весь окружающий мир, так что, выйдя из казенного, серого, но все-таки своего дома, похозяйничав на ближайших подступах к нему, дальше они удалялись с некоторой опаской, исследуя незнакомый мир системой концентрических кругов, расширяя их, но именно по окружности, центром которой была их не такая уж и худая конура, где поят, кормят, одевают, обувают, учат и спать укладывают.

Бывало, стайка интернатовцев встречалась нос к носу с чуждой ей мальчишечьей толпой, хотя такое было раз-другой, не более. Городские, как правило, могли ходить вместе или какой-нибудь школьной экскурсией, тогда это была

безопасная смешанная толпа, не способная ни задираться, ни сопротивляться, или мальчишечьей командой спортивного типа – с коньками, например, под мышкой, с клюшками на плечах, но тогда, еще издали интернатовская компашка рассыпалась, атомизировалась, как модно нынче выражаются взрослые, то есть расходилась по двое, поодиночке, и выходило, что идут просто разные ребята по разным сторонам улицы, даже по дороге, и пропускала, таким образом, сквозь свою рассеянную группу возможных противников, избегая такой простой уловкой столкновения или иной какой сцепки.

Удалялись интернатовские стайки от конуры своей недалеко, на квартал-другой по кругу, далее отходить не рискуя, и потому можно утверждать, что города, не такого уж и большого, толком не знали. Да и к чему, собственно? Если какая экскурсия – их возят автобусом и, конечно же, погоняют. В театр на утренники – то же самое, да и редкими совсем стали эти утренники, пару раз в год. Все остальное было у них свое: и школа, и столовая, и кружки, и библиотека. Вот разве, если всерьез заболеешь – грозит больница, но ведь и тогда тебя туда привезут, а потом заберут обратно.

Все это говорится к тому, что когда в шести кварталах от интерната кто-то грабанул киоск, никому и в голову не пришло подумать на интернатовских. К тому же и кража была весьма странная, так что даже и дело не завели. С одной стороны, милиция по уши завалена серьезными делами, вклю-



чая убийства, а следователей не хватает, с другой – кража настолько мелка, что и сама хозяйка не настаивает на расследовании. Обратилась, куда следует, скорее по инерции, даже не из страха, а просто для порядка.

Ну, конечно, она и сама виновата: согласно постановлениям властей должна была на ночь запирасть стеклянный свой ящик щитами под замком, а на щиты, видите ли, у нее денег не хватало – вот и все. Любой алкаш стукнет кулаком, во что-нибудь обмотанным, в стекло и возьмет свою бутылку, как и произошло.

Произошло так: сломано стекло, прямо из-за него вынуты две бутылки – коньяк и водка, да пара шоколадок с набившим оскомину названием «Сникерс».

Мент тоже был человеком, и наименование «Сникерс» душевно травмировало его, как и всю Россию, а поэтому, когда хозяйка киоска произнесла это слово, этот дурацкий пароль дурацких реформ, он то ли зубами скрежетнул, то ли рыгнул, негодуя нутром, – только далее торговка осеклась и уж про блок каких-то там памперсов благоразумно промолчала. Так что они не фигурировали даже в проекте бумаги, которую начал было составлять милиционер. Баба же, внешне до странности смахивающая на интернатовских мамашек, перетрусилась непозволительно нескромной малости своих потерь, завлекла мента в киоск, затолкала ему, не встречая особого сопротивления, во внутренние карманы шинели пару бутылок «Смирновской», а проект акта порвала своими руками,

сильно извиняясь за доставленное беспокойство. Старшина, повторим, был человек и удалился с достоинством, успокоенный, что более по таким мелочам обеспокоен не станет.

Так что ни дело не возбуждалось, ни подозрения ни на кого не пало, кроме разве анонимных алкашей, которых разве-лось по всей державе видимо-невидимо.

До интерната не дошла даже отдаленная весть об этой мельчайшей краже, и никаких признаков, связывающих интернат с каким-то ничтожным киоском, не наблюдалось. Правда, той же ночью Топорик ходил в туалет и там задержался, но никто этого заметить не мог, ибо ребята спали по обычаю, как усталые щенки, без задних лап. Зоя же Павловна, дежурившая по графику, тихо смоталась домой, к своим собственным деткам, в нарушение всех и всяческих инструкций и просто здравого смысла: ведь случись, к примеру, в ее ответственное дежурство по спальному корпусу пожар, получила бы она на полную катушку и уж долго не увидела бы своих любимых девочек.

Но пожары не случались, и не одна Зоя Павловна уматывалась на полночи домой, не закрыв, ясное дело, на запор входную дверь – ведь она запиралась на засов исключительно изнутри, – а лишь плотно ее притворив.

Узнай, конечно, Георгий Иванович о таких номерах воспиталки, ее бы вытурили вмиг, но уж слишком доверялся он своим подручным, а те, по негласному взрослому сговору, хвалили друг дружку, отчитывались перед долговязым

директором о большой воспитательной работе во внеучебное время, рисовали индивидуальные планы, украшенные розочками и ромашками, а жалобами на детей и рассуждениями вслух на педагогических советах сообща складывали единую мозаику преодолеваемых ими проблем, которых на самом деле не было, зато замалчивали или же не замечали сами того, что угрожало.

Что в этом особенного! Так часто и бывает в жизни. Истинные беды не хотят замечать, отметают их, чтоб не тревожили, а при явной опасности ведут себя по-страусиному, зарывают голову в песок, чтоб не видеть приблизившегося ужаса. И разве это только в интернате?

Словом, дети, знавшие даже самые тайные повадки своих попечителей, умело пользовались этим в своих интересах, и Коля Топоров исчез, точно рассчитав нужное ему время.

Наутро он проснулся, как обычно, по команде, поднялся, умылся, в столовой завтракал под приглядом бдительной тети Даши, а дня через четыре разделил между Макалкой, Гошманом, Гнедым и самим собой, Топориком, шоколадный батончик без обертки, и когда ребята, не особенно напирая, спросили его, уж не «Сникерсом» ли он их угощает, подразумевая следующий немой вопрос – где взял? – Кольча ответил им, что это вовсе даже «Марс», а его самого угостил добрый дядька, неведомый ему лично, которого он попросил на улице закурить.

– Бывают же добрые дядьки! – вздохнул Гошман, и осталь-

ная публика завздыхала вслед за ним, с чем Топор охотно согласился, как всегда кратко и холодно:

– Бывают.

А еще через день Макарка ликовал поутру, и простыня у него была сухой.

Кто-то попробовал хохотнуть, увидев Макарку, когда он поднялся, но Топор будто навис надо всеми, сказав свое первое слово и подразумевая Зою Павловну, которая чего-то задерживалась:

– Ну ты ее умыл, Макарий!

И тот засмеялся, и засмеялись все, но над ней, а не над Макаркой, который развязывал затянутый в бантик черный шнурок, поддерживавший расстриженный побоку малышовый памперс. Вот это было изобретение! Все ночное недержание Макарки ушло в дивный памперс, все его многолетние страхи быть снова и снова обруганным воспиталкой, весь его срам, когда совсем взрослый пацан вынужден тащить на спине мокрый матрац, а потом, всякий раз краснея от стыда – много лет! – дурно пахнущую простынь.

Макарка смеялся и почему-то радостно поглядывал на Топорика. Но этому опять же никто не придавал значения, они же все-таки дружили, эти четверо пацанов, почти братьями были. И никому уж в голову не пришло выяснять, откуда у Макарова взялись младенческие памперсы.

А той пачки хватило на неделю! И потом они у Макария не переводились. Ясное дело, Зоя Павловна это волшебное

превращение Макарки заметила, пару дней помолчала, вглядываясь в улыбающееся лицо хронического грешника, а потом доложила на совете воспитателен о своей убедительной победе. Кастелянша ее слова подтвердила. Точнее, она подтвердила, что Макаров больше не сдает по утрам мокрых простыней.

Поскольку энурезом страдало множество интернатских, особенно малышей, Георгий Иванович просто охотно вычеркнул из своего сознания еще одного писуна, потому что вообще-то такой факт говорил о неважной психолого-медицинской работе воспитательского персонала, и если не задевало уж как-то особо взрослых работников, то было все же неприятно.

Мало ли кто из проверяющих эдакое к словцу ввернет? Много можно всяких замечаний делать, и справедливых, что ж говорить, но они для всех характерны, можно сказать, для всей страны, но ведь цепляет не общая оценка, а шокирующая частность: вот, мол, выпускают в жизнь подростков, писающихся под себя! И что ни говори потом, на каком позитивном опыте не фиксируй сознание комиссии, все побоку, потому как писающийся семиклассник, а того пуще – выпускник, это вроде ярлыка на товаре, и если товар дешев, такова цена и продавцу.

Про памперсы они не узнали.

К концу восьмого класса Топорика корежить стало чуть не каждый день. И тогда – дело было весной, в мае, совсем еще светлым вечером, – переступив дорогу тете Даше, он пошел за оградой рядом с ней.

Лоб тети Даши покрылся потным бисером, груз, как всегда, склонял ее к земле, и Коля потянул у нее одну из сумок, желая помочь. Она отдала свою ношу не с первого раза, не поняв вначале, что ей хотят помочь, а когда поняла, вздохнула облегченно, сбавила торопливый шаг, но все равно была недовольна, что к ней прицепился, хоть и выделяемый почему-то ею, но, видать, нежелательный интернатовец.

Они дошли до утла, и только тогда Топорик сладил с собой тоже. Он волновался как никогда, долго готовился к этому вопросу и даже заучивал слова, но вышло у него угловато и неточно. Он спросил:

– Тетя Даша, вы знаете, откуда я? Кто я такой?

Она даже притормозила:

– Ишь, чо удумал?

– А чего? – не понял он.

Повариха сделала несколько медленных шагов, остановилась, разглядывая его.

– Вы ведь чего-то знаете, – сказал он, в упор разглядывая ее, – вы же мне давали добавку.

– Фу ты, Господи! – неуверенно улыбнулась тетя Даша. – Да разве же я тебе одному добавку даю? Всем, кто не наелся. А тебе, – она замялась и брякнула, – как ветерану.

– Ветерану?

– Ну да! Ты же в интернате нашем ветеран, вроде меня. Почти всю жизнь. И ничего я про тебя не знаю. Привезли тебя из Дома ребенка, три годика тебе было. Многих оттуда привозят.

Она двинулась дальше, придя, видать, в себя, поняв причину этих странных ее проводов.

– Да ты у Георгия-то Ивановича спрашивал? Все документы у него.

Спрашивал ли он? Топорик усмехнулся, перехватывая тяжеленную сумку поварихи. Да директор сам ему говорил. В начале восьмого класса позвал к себе – пора было оформлять паспорт, его теперь в четырнадцать лет дают, а для паспорта требуется метрика и все такое – и протянул ему тонюсенькую папочку. На, дескать, посмотри свои дела. Когда Коля раскрыл корочку, слева увидел бумажный кармашек и в нем большую цветную фотку, с которой пучеглазо таращился незнакомый карапуз – это был он в три года, выпускная, так сказать, фотография от Дома ребенка.

В кармашке на противоположной стороне лежало, сложенное вдвое, свидетельство о рождении и его характеристика, опять же из Дома ребенка. Он и характеристику, ясное дело, прочитал, какие-то непонятные диагнозы, а потом

в две строчки характеристика, из которой он запомнил слова «спокоен» и «замкнут». В свидетельстве о рождении увидел запись про одну только мать: Топорова Мария Ивановна. В строчке, которая отводилась под имя отца, был чернильный прочерк: фиолетовая жирная черта.

Ничего другого Топорик и не ждал, но что надо спросить, не знал и только вопросительно посмотрел на директора. Тот глядел в окно, постукивал неслышно карандашиком по ладони и так вот, не глядя на Колю, но, видать, точно зная, что требуется ответить на несказанный вопрос, ответил:

– Больше у нас ничего нет.

Странное дело, в ту ночь Топорика совсем не корежило, спал как убитый, будто ненадолго успокоился, а потом все началось по новой. Слава Богу, в паспорте с двуглавым золотым орлом про родителей ничего писать не требовалось, и, получив его вместе с другими четырнадцатилетками из интерната, полистав и порадовавшись, он сдал его директору, видать, все в ту же папочку, до выхода, как им объяснили, из интерната.

И только тогда его осенило: если в строчке, где должен быть записан отец, фиолетовая черта, откуда отчество-то? Оно же по отцовскому имени? А отца нет. Но у самого Коли в метрике отчество уже есть: Иванович. Мать Ивановна, он Иванович, а отца и вовсе нет. Может, и мать ему придумали?

Вот тогда, немало времени поколебавшись, Топорик и решил проводить до дому тетю Дашу.



Домик, в котором жила повариха, был совсем низенький, вросший в землю. Палисадник перед окнами зарос кустами шиповника, он тогда набирал цвет, еще не покрылся цветами, зато сиял свежей зеленью, будто только что покрашенный. За воротами мыкнула корова, калитка распахнулась, оттуда вышла неизвестная Топору молодка, молча подхватила сумки у поварихи и у Кольки, ушла, а тетя Даша, отирая пот со лба, наконец-то объяснила:

– Бот ношу остатки с вашего стола. Ведь столько недоедаете, а мы коровку держим...

Топорику было все равно, чего она держит и носит, мысли его витали далеко отсюда. Он стыдился этого разговора, этих проводов поварихи, и зачем только понадобилось ему выяснять у нее какую-то там истину о своем происхождении, когда сведения более точные, хотя и безнадёжные, уже предъявило ему лицо ответственное и официальное, не то что повариха, – сам директор.

Он кивнул, криво улыбаясь, повернулся и пошел назад.

Тетя Даша сказала ему вслед:

– Да ты в Дом ребенка сходи!

Он поначалу как-то пропустил эти слова, а вспомнив о них ночью, когда опять его закорезило, закрючило, заломало, подумал, что это уж слишком, за это же дико стыдно – идти в Дом ребенка и расспрашивать там, кто он такой. И сегодня-то выглядел дураком перед поварихой, но тетя Даша и правда знает всю его тутошнюю жизнь, а там? Кого он

спросит? Как спросит?

Еще к концу восьмого класса в Топоре ясно выстоялось ощущение, что надо что-то делать. Что так больше жить невозможно. Его не оставляло чувство, что он спит с открытыми глазами и надо, давно пора проснуться.

Проснуться можно было только покинув интернат. Все равно рано или поздно это придется сделать. Когда он учился в начальных классах, учителя говорили им, что государство заботится о них и, хотя интернатовцам немало выпало горького, каждый из них сможет стать инженером, летчиком или даже артистом, только старайтесь, учитесь. И среди ребят было твердое знание, что аттестат зрелости, который выдают после интерната, ничем не отличается от аттестата обыкновенной школы, а на стене в фойе висел целый щит с фотками пацанов и особенно девчонок, которые попали в институты и техникумы и уже кончили их. Топорика, правда, удивляло, что эти счастливчики уж больно редко вспоминали интернат, вроде как стараясь его забыть, – но Бог с ними, они уже сами по себе... И вдруг учителя перестали говорить про институты, да и чего тут скажешь, ведь та же торговка из ларька, где исчезли две бутылки, пара «Сникерсов» да упаковка памперсов, зарабатывает в десять раз больше, чем инженер, летчик, а может, и артист, хотя про артистов говорили всякое, и они, сменяя друг друга, без конца заглядывали в интернат из окошка телевизора. Заглядывали, конечно же, ничего при этом не видя...

В общем, Колю Топорова, как и всякой весной, он это давно за собой приметил, крутило и корежило, и звало в какой-то путь.

Что, в самом деле, за смысл жить тут еще три года, заканчивать одиннадцать классов, терпеть, когда тебе прокукует почти восемнадцать, – и там в армию? Если, конечно, возмут. Аттестат теперь не имел значения, сейчас все решала удача или же денежная специальность, и постепенно как-то Коля понял, что надо ему идти в ПТУ, куда принимали из интерната без всяких экзаменов, и учиться на автослесаря: самое милое, всегда дефицитное и хорошо оплачиваемое дело.

По считам, развешанным на улицах, он выяснил, что такое училище есть на противоположном конце их городка. Оторвавшись от милых своих дружков, он пересек невеликий их городишко, а найдя здание ПТУ, не испытал ничего, кроме облегчения. Училище оказалось таким же, как интернат, серым трехэтажным зданием из силикатного кирпича, а возле отирались похожие на интернатовцев пацаны, только чуток постарше.

На щите возле самого училища он вычитал также, что общежитие иногородним предоставляется, и успокоился вконец, потому как, это знали все в интернате, их приравнивают к иногородним и без койки в общежитии не могут оставить по закону – эвон как! Закон их защищал.

Приняв решение, Топор никому о нем не объявил, но вро-

де как заторопился. Ему не сиделось на уроках, он спешил выучить задания, не тянул, как другие, резину и потому подтянулся, стал получать приличные отметки.

Ни Макарка, ни Гошман, ни Гнедой никуда не торопились, директор и учителя внушили почти всем, что доучиться надо до полного завершения школы, потому что жизнь за забором становится все трудней, а здесь, худо ли, бедно ли, и харчи, и крыша над головой, и многих это утешало, расслабляло.

Топорик, слушая высказывания на эти темы, ухмылялся, но вслух не спорил, потому что в общем-то соглашался. Во всяком случае, Гошману надо было получать аттестат и рыпаться в институт, Макарке – освобождаться и дальше от своего грешка – на свободе забывают, – ну а Гнедой на воле пропадет сразу с его дурацким мировоззрением, что все говно, кроме мочи.

Одного себя Топорик выводил из этого крута, окончательно приходя к выводу, что не имеет права кидать три года коту под хвост, когда жизнь, отведенная людям, так коротка. Нет времени прятаться, как черепаха, под панцирь интерната, и хотя существование за забором малопонятно, чем скорее врубишься в него, тем скорее станешь взрослым.

Вот чего ему страстно хотелось и отчего корежило: поскорее расстаться с детством, уйти из интерната, забыть свою безродность.

Поскорее чему-то научиться, что-то делать, достичь. По-

скорей состояться. Конечно, такие слова и понятия он не употреблял даже про себя. Просто его тянуло куда-то. И следовало понять, куда именно.

Он понял. И сказал об этом директору.

Ах, как печально непохожи интернатские выпускные вечера на такие же праздники в обыкновенных школах! Вроде все одинаково: так же сияют огни и народ возбужден, похоже, чуточку излишне криклив, ну и ясное дело, наряден. В интернатской столовой даже и угощения побольше – пирожки, например, целыми громадными блюдами, кувшины с морсом в неограниченном количестве: ешь да пей от пуза, уважаемый ученик, закончивший свое образование, и доброго тебе пути!

Однако же главное – совсем непохоже. Обыкновенный школьник получает аттестат из директорских рук не только как вознаграждение за учебу, но еще и как его дар родителям, которые сидят тут же, волнуются больше, чем надо, соглашаясь внутренне, что ведь и не только они погоняли своего нерадивца, но и он, оказывается, не такой уж разгильдяй, если получает аттестат о среднем образовании. Про отличников и отличниц помолчим, потому как их вообще меньшинство на нашей планете.

Аттестат интернатовца – всякого, причем – выстрадан куда как трудней и больней, чем такой же документ в обычной школе. И любого, кому вручают, оттого, наверное, встречают ликуя, а хлопают куда дольше, чем в заведении через дорогу. Это, наверное, потому, что каждый каждого знает тут вдоль

и поперек, что и мальки к старшему относятся здесь не как к соседу по школе, но еще и как к соседу по спальне, столовке, спортзалу, двору, словом, почти как к брату. Между братьями бывают жестокие схватки, но разве же не случаются они в родной семье... Но вот настает момент ликования и... тоски. Ликования, что бедолага такой-то, продравшись сквозь все сиротские невзгоды, сквозь слезы, драчки, двойки, наказания привередливых воспиталок, жизнь, проведенную в общей спальне с младенческих лет, это дитя, в синяках и шишках, не знавшее ласки, стыдливо признающее существование невесть где шатающейся мамашки, это дитя, выросшее, угловатое, все в казенном, от трусов и носков до едва тянущих на приличие жалкого костюмчика или платьишка – стоит на сцене – не в хоре или какой еще иной группе, как бывало прежде, а единолично, пунцовея и бледнея, и ему или ей лично адресован грохот детских аплодисментов, желающих удачи, аплодисментов, в которых слышится надежда, что и у них, пока малых, как и у тех, кто выбрался, выкарабкался, тоже настанет такой торжественный день, который отрезает все больное и страшное, оставляет недобрую память здесь, в интернате, а там, впереди, всех будет ждать только добро и только радость...

И еще эти бурные аплодисменты, почти овации, получаются такими яростными оттого, что в зале нет тех, кому бы, может быть, раньше всего хотели эти торжественно одетые и выросшие мальчики и девочки показать свои аттестаты: их

непутевые, а то и вовсе истаявшие родители, мамы и папы, которых так и язык-то назвать не поворачивается и к кому все же эти преданные ими, выросшие не благодаря, а вопреки им детишки сохраняют поразительную любовь.

В зале учителя, воспитатели, даже дворник Никодим, а отцов и матерей нет, будь они прокляты, любимые, несчастные, пропащие, их нет, будь они трижды неладны, а оттого громче, громче хлопайте, дети, – пацаны и девчонки, малыши и те, что постарше, не жалейте ладоней, не отставайте и вы, взрослые, в этот радостный и скорбный день – те, кто вырос тут, а сейчас выходит на сцену под свет ярких фонарей, ей-богу, стоят того, чтобы их приветствовать не горячо, а жарко, изо всех возможных сил!

Очень, очень много значат аплодисменты на выпускном вечере в интернате, где, конечно же, сначала вручают аттестаты выпускникам, а потом свидетельства об окончании восьмого класса, если кто решил свернуть в свою сторону.

Топорику хлопали, как будто он получил аттестат, а потом был вечер с пирожками, холодцом, морсом, вкуснейшими котлетами, и они, четверо почти братьев, по Колькиному указанию набрали пирожков полные карманы.

Музыка еще гремела из окон спортзала, а пацаны уже бежали к березовой роще, предвкушая продолжение праздника. В руке Топорика белел сверток, он вызывал тайное возбуждение, и Гнедой, Макарка и Гошман чего-то кричали несуразное, какую-то несли чушь, чему-то радовались и че-



му-то ужасались: эти детские речи подросших пацанов, выросших в интернате, трудно цитировать в силу их бесцензурности, малости видимого смысла, высшей убогости при громадной внутренней силе неведомых посторонним тайных чувств, которые вкладывались при том в каждое восклицание и даже междометие. Особенно, когда выкрикивается все это на ходу.

Они усьелись возле косоватого пенька, и Топорик достал свою прошлогоднюю заначку – бутылку водки и бутылку коньяка. Косенький пенек бутылки не держал, они съезжали, так что на него выгрузили из кармана пирожки, а бутылки – сперва с коньяком одну, пустили по кругу. Увы, наши герои были в определенном, не всем понятном смысле маменькиными сынками, ведь они еще до появления на свет – кроме Топора – знали вкус алкоголя. По крайней мере в троих из них жила еще и не совсем познанная ими алкогольная наследственность, страшное дело, даруемое мамашками. Ведь дитя, рожденное женщиной-пьяницей, еще в материнской утробе становится зависимым от алкоголя – ну а как же! Ведь ребенок – часть матери, часть ее организма, и если весь организм постоянно отравлен водкой, то ее – чудовищная связь! – жаждет и новорожденное дитя! Немало усилий понадобится потом, чтобы разорвать эту связь, выправить, излечить дитя, освободить его от алкогольной зависимости, и никто всерьез не поручится зато, что, выросши, человек этот, вспомнив врожденную грешность, не повторит судьбу

мамы. И не крепко будет виновен, если докапываться до глубин: это сработал, повернулся его наследственный ключ.

Трое из четверых проходили свое не самое радостное детство с клеймом, которое можно назвать весьма вероятным, и только Топорик оставался в тени: про него так утверждать бы никто не решился, лишь предполагая, что неизвестность может таить любое.

Они начали с коньяка и распили бутылку с двух кругов: сказались спешка, побег, возбуждение.

Коньяк был крепок, хотя, похоже, и не чист. Что-то намешано в него. В головах забурлило, они стали толковать еще громче. Главным образом говорили про Топорика, про то, как умело, будто партизан, скрывал до последнего, что решил сигануть в ПТУ, стать слесарем. О том, что это не по-братски – молчать до упора. И о том, что без него будет не так...

Как будет без него, они не знали. Но в распаленных коньяком сердчишках закипала тоска. Чтобы не разреветься, Гошман пустил по кругу пачку сигарет. Они закурили.

Топорик чувствовал, что его опять что-то ломает, какая-то тоска, но признаваться в этом не собирался, ведь он выбрал сам свою дорогу. Сбиваясь, куроча фразы, он принялся объяснять, почему ему обязательно надо пойти в ПТУ и поскорее начать работать, а им это делать нельзя. Получалось путано и неубедительно, потому что Коля не мог сказать своим друзьям, почему ему уходить можно, а им нельзя,

они спорили с ним охмелевшими голосами, и не разговор у них получился, а пьяная буза.

Тогда они переменили тему и стали вспоминать, как выпивали в интернатские времена и где доставали выпивку. Одно время они выслеживали грузовик с открытым кузовом, который подвозил выпивку к соседнему магазину. Там шел подъемчик, вот на нем и можно было, конечно, крепко рискуя, зацепиться за борт, забраться в кузов и выхватить из ящиков пару-тройку бутылок. Чаще всего это были «огнетушители» с бурдой, которую разливали на местном винзаводе, но однажды они раздобыли и водку. Несколько раз сбрасывались и получали пойло в магазине, не сами, конечно, а попросив какого-нибудь забулдыгу, каких водилось теперь на улицах несчетно. Приходилось, правда, отливать ему граммов сто в жестяную банку из-под колы или пепси, которую нынешний алкаш всегда имеет при себе.

Однажды Коля был поражен тем, что небритый алкоголик достал жестяную банку, сложенную вдвое – кроме донышка. Коричневыми пальцами упорный боец раздвинул края, и банка восстановила свою приблизительную форму – во всяком случае, пить из нее уже было можно, как и вливать в нее горячительную прозрачную жидкость. Кадровый пьянчуга сглотнул свою долю не поморщась, схлопнул банку в прежнюю полуплоскость и сунул в карман. Перед тем, правда, он норовил слить свой процент из горла, но Топор, воспитанный в правилах общественной гигиены, решительно воз-

разил, и тогда появилось импортное свидетельство русской вписанности в мировую цивилизацию.

Алкаши брали выпивку по заказам ребят не ересь, как и взрослые мужики, безропотно угощавшие пацанов сигаретами. Был лишь один случай, который Топорик не любил вспоминать. Они готовились к дню рождения кого-то из пацанов, сбросились, ясное дело, но денег не хватало, и тогда остановили выбор на бутылки какой-то сухой бурды. Когда же настала пора честно отчислить процент, очередной алкаш, коренастый, правда, и неслабый внешне, в спортивной шапке с помпоном, красноносый и бородатый, с трудом дождавшись, пока Гнедой срежет перочинным ножиком пластмассовую пробку, вырвал бутылку у него из рук и начал жадно глотать благословенную влагу.

Это было негигиенично, некрасиво, среди бела дня, прямо возле магазина, и затрудняло ребят всеми этими своими неудобствами. Но алкаш вел себя несправедливо, одолел уже треть бутылки, и тогда Топорик едва кивнул, давая старт молниеносной, тысячу раз отработанной технике коллективного приютского нападения. Макарка присел сзади пьянчужки, Топорик толкнул его в грудь, а Гнедому оставалось только вовремя подхватить бутылку.

Дверь магазина в ту минуту распахнулась, оттуда вывалились еще двое ветеранов алкогольной агрессии и, замерев, стали свидетелями почти акробатического этюда, когда наглец, нарушивший правила и обидевший интернатов-

ских, подкинув ботинки выше своей спортивной шапочки, грохнулся через спину пацана, еще слегка приподнявшего-ся, чтобы усилить эффект перевертывания, а бутыль перешла во владение настоящих собственников.

Этого было достаточно, чтобы мнение – с пацанами не связываться! – было окончательно укреплено в туманных мозгах жаждущего народа.

Среди которого, впрочем, запросто могли оказаться и па-паши этих вольных стрелков.

Знал ли долговязый директор интерната про грехи своих воспитанников? И да, и нет. Табачищем тянуло от каждого мальчишки, перевалившего за порог четвертого класса, и это не очень скрывалось. Достигший определенных философских высот, среди которых, бесспорно, и смирение как форма неодолимого бессилия, Георгий Иванович хоть и боролся с курением, хотя бы самых маленьких, сам будучи человеком курящим победы достигал лишь на ограниченных пространствах спален и учебных помещений, сильно уступая даже в районе мальчишеского туалета. Ну а на улице разве же уследишь за двумя-то с половиной сотнями детишек, прошедших еще во младенчестве суровую школу свободы?

А вот насчет выпивки определенно сказать нельзя. Запах уловить было трудно, потому что если и выпивали, то те, кто постарше и с оглядкой, то есть осторожно, а выпив, взрослых работников интерната обходили. Крутых эксцессов тоже не наблюдалось: сильно никто не напивался – здесь только примерялись, только пробовали. Так что директору оставалось предполагать: не без того.

И вот четверо из многих повзрослевших орали вокруг березового пенька, принявши первые сто двадцать пять грамм коньяка неизвестного происхождения, в который было явно что-то намешано, но что, они еще не в силах были понять. И

поймут ли когда такие тонкости – неизвестно.

Покричав и этим слегка утомившись, ребята запели. Среди немногих эффективных приемов коллективного воспитания несколько лет назад Георгий Иванович импортировал один совершенно замечательный. Состоял он в том, что в зале и просто в классе – потом это даже вошло в расписание внеурочных занятий – собирали мальчишек (девочек почему-то отдельно). И каждому раздавали пухлый песенник. Георгий Иванович поначалу запевал сам, но очень скоро от этой обязанности освободился, потому что голосистых желающих хватало.

Книжку раздавали всем и каждому, справедливо рассчитывая на постепенность, запевала выбирал песню, просто называя страницу. И поскольку песенник был популярный, состоял из песен всем известных, с ясной, запоминающейся мелодией, скоро ребята лишь краем глаза заглядывали в книжку, а потом у многих она лежала и вовсе нераскрытой на этих сходках.

Как пели сироты? Ну, как поют люди без голосов и слуха, но знающие текст? Не очень, прямо заметим, мелодично, но зато слаженно и дружно. Так что интернат, о котором идет речь, славился как поющий, и вот этим отличием Георгий Иванович чаще всего и убеждал разнообразных проверяющих в не самом плохом качестве своей работы. Они, эти бесконечные комиссии, могли какие угодно высказывать замечания, следовало терпеливо, не возражая, не тратя на-

прасно сил своих, слушать, ну а перед тем, как они удалятся для написания заключения или даже акта, пригласить в детскую столовую, усадить рядом с ребятней, всегда вежливой, чужих чувствующей на значительном расстоянии, покормить обыкновенной, как и всех детей, пищей, а когда ложки отстучат и дежурные девочки в нарядных фартуках уберут быстренько посуду, предложить детям: вот, мол, у нас сегодня гости дорогие, давайте-ка им споем. И целый зал, сразу двести человек (без маленьких), вдруг начинает петь – не шибко художественно, повторим, но зато замечательно дружно, улыбаясь, а гости, слегка растерявшись, вынуждены подтягивать, конечно же, не зная половины слов, – вот тут-то и разрешались без всякой натяжки и рассуждений педагогические споры: мелкие замечания умирали, устыдившись, а крупные мельчали, часто превращаясь в общие рассуждения.

Был ли Георгий Иванович злоумышленником, хитрованом, таким педагогическим очковтирателем, что ли? Да во-все нет. Он просто безумно устал от безмерной своей ответственности быть государственным отцом двухсот пятидесяти детей, постоянного, хотя и скрытого страха за их здоровье и даже жизнь, за настоящее и будущее этих бедолаг, вполне ему очевидное.

Он устал от своей должности бесконечного выбивалы, доставалы, менялы – денег, продуктов, одежды, белья, обуви, игрушек, красок, мыла и тысяч подобных вещей, кажущих-



ся маловажными только непосвященным. Он устал от посторонних – этих бессчетных проверяющих, у каждого из которых особое мнение, свой гонор и невидимые взору знания. Вот и приходилось отбиваться, в том числе и таким невинно-лукавым способом, как детское пение, кого угодно способное расплавить.

Что же касается четверки, расположившейся у неровного пенька, то Топорик был, несмотря на видимую свою флегматичность, самым голосистым и музыкально способным, по крайней мере помнящим правильную мелодию. Остальные отличались дружностью и умением выпевать слова, не отставая друг от друга, – сказывалась практика.

Сперва они не очень громко, будто приноравливаясь, затянули «Тройку».

Вот мчится тройка удалая  
В Казань дорогой столбовой,  
И колокольчик, дар Валдая,  
Гудет уныло над дугой.

Ребята знали: «Тройку» лучше всего затягивать негромко, как бы что-то вспоминая, чуть раскачиваясь, представляя поначалу, где и как это происходит. И погромче-то уж потом, когда действие начинается:

Ямщик лихой – он встал с полночи, Ему взгрустнулося в тиши; И он запел про ясны очи, Про очи девицы-души.

# Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.